

ПЕВЕЦ ВЕКА

К 80-летию
со дня рождения
Владимира
ЛУГОВСКОГО



ВЛАДИМИРА ЛУГОВСКОГО я увидел только после войны. Вернувшись из армии, я пришел в литобъединение при «Комсомольской правде», которым он тогда руководил. Меня сразу же поразило его облик. Когда-то он писал о себе: «Я не ястреб, конечно, но что-то такое замечал иногда, отражаясь в больших зеркалах. Доктор мне прописал лошадиную дозу покоя. Есть покой, есть и лошадь, а дозу укажет аллах».

При своей ястребиной внешности он был очень добр. Все ученики его звали дядя Володя. Высокого роста, с лицом могучей лепки, с глубоким рокошущим басом, он был мягок с людьми, деликатен, как-то по-великаньи добродушен.

Нас согревала его романтика, подымала душу, куда-то звала. Метафора ветра была его любимой метафорой.

Знаменитая «Песня о ветре» как бы аккумулирует всю «ветровую» романтическую тему поэта. Почти в каждом стихотворении гуляет ветер русских просторов, ветер гражданской войны, ветер молодости.

Но его романтика чуждалась риторики, она покоилась на прочных, прозаических, конкретных деталях.

Вот, например, одно место из стихотворения «Басмач»:

Носом сапога покатывая
одинокий патрон на полу,
Иетвердыми жирными
пальцами
он поднял пиалу.

Этот «одинокий патрон» — необычайно точная, сверхконкретная, реалистическая подробность, которая придает достоверность всей картине.

Ощущение фактической правдивости, документальной и стенографической подлинности является фундаментом, на котором строится все возвышенное, легкое здание поэзии Луговского. Блок научил его мятушей метельности и полету, а конструктивизм — почти научной прозаической точности, умению оперировать современной лексикой, смелому введению всего богатства разговорного и газетного языка.

Особенно удавались Луговскому архаизмы, вводимые в ткань стихов, звучащие остро и выразительно, песенные и частушечные ритмы.

Эпоха встает в стихах и поэмах Луговского со всей мешаниной лексики, со всеми нервными изломами ритмов, со всем богатством интонаций, ощущаешь, что перевернуты все пласты, что все сдвинулось с места, все в

движении, ничего нет еще устоявшегося, все меняется.

И это есть основное настроение, которое выносятся после прочтения всего, написанного поэтом.

Но самое главное — мысль, которая питает изнутри все творчество этого вечно беспокойного, мятушегося поэта, мысль тоже беспокойная, мятушаяся, угадываемая за романтической декламацией, всепроникающая и мерцающая где-то в глубине, казалась бы, почти документального текста.

Интеллектуальное постоянное беспокойство поэта — пример для бездумных стихотворцев, не желающих заглянуть в корень всех вещей, понять суть, голос событий.

Сочетание фотографичной очерковости, откровенной репортажности с места событий, с одной стороны, со страстью к осмыслению — с другой, — удивительное качество этого певца XX века, не чуждого ничему: ни лиричности, ни песенности, ни высокой патетике.

Луговский — мастер создания объемных, рельефных портретов людей («Басмач», «Учитель», «Милицционер Нури», «Трактористка Валя», «Комиссар» и многие другие).

Пластически вылепленные персонажи его стихов — это все типажи, без которых непонятен XX век. После прочтения трехтомника Луговского долго еще слышишь голоса людей, видишь их облик, звучат в ушах лозунги, песни, частушки, гул толпы, шум могучей природы — все богатство жизни, учетверенной страстью поэта, его жадной бытия, его неистовой волей к познанию.

Творческая мощь Луговского вызывает уважение. Казалось, он хочет все воплотить, материализовать, воссоздать, — и это мощь демиурга, творца. Он ставил себе трудную задачу — старался избегать легких, «поэтичных» путей, легкого соблазна «романсовости». Поэту было свойственно мужественное стремление к охвату важных проблем, преодоление (а не избегание) тяжелой жизненной прозы, отношение к поэзии как к строгому, серьезно-му делу, родственному науке.

А соблазн облегченной романсовости был («Меня берут за лацканы, мне не дают покоя: срифмуйте нечто ласковое, тоскливое такое... чтобы опять метелица да тоненькая бровь...»).

Но Луговский хотел поднять в воздух аппарат тяжелее воздуха: он понимал, что настоящая победа — только в преодолении земного притяжения.

В его стихах было чудо претворения «воды» прозы в «вино» поэзии.

Сопражение мечты и реальности — сильнейшая сторона дарования этого крупнейшего поэта.

Разнообразна и «география» поэзии Луговского: здесь и Средняя Азия, и Дербент, и Западная Европа, и средняя полоса России, и Сибирь.

Он любил историю, понимал ее, чувствовал, как никто, обращался к ней — и находил краски удивительно яркие, звонкие и чистые. Вот он начинает:

Дорога идет
от широких мечей,
От сечи и плена Игоря...
И далее:

От белых поповен
в поповском саду,
От смертного духа
морозного,

От синих чертей,
шевелящих в аду
Царя Иоанна Грозного.

Но Луговский не был бы Луговским, если бы не давал волю непосредственному лиризму. Как он умеет сказать подчас сжато и точно:

Луна стоит
на капитанской вахте,
На триста верст
рассыпался прибой.
И, словно белая
трепещущая лхта,
Уходит женщина,
любимая тобой.

Он любит заземлять:
Молочница цедит мороз
из бидона,
Точильщик торгуется
с черного хода.

И в том же стихотворении задушевная, глубокая, лирическая, доверительная интонация:

Но ты мне приснилась
как детству — русалки,
Как детству —
моньки на прудах
поседелых,

Как детству —
веселая бестолочь салон,
Как детству —
бессонные лица сиделок.

В «Курсантской венгерке» многие качества дарования поэта слились в одно — лиризм:

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме.
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

На хорах —
декабрьское небо,
Портретный и рамочный
шлам,
Четвертку колочего хлеба
Поделим с тобой пополам.

Обаяние этого стихотворения неотразимо для тех, кто прошел сквозь армию, кто кончал военное училище, — потому оно так и поразило меня, пришедшего с войны, и до того не знакомого с поэзией Луговского.

Потом, уже в 50-е годы, потрясла «Середина века» — и грандиозностью замысла, и духом силы, раскрепощенности, каким веяло от этой книги поэм.

Передо мною середина века.
Я много видел.
Многого не видел.
Вокруг не понял
и в себе не понял.
В душе не видел,
на земле не видел.
И все ж пойми —
вот исповедь моя:
Я был участником
событий мощных
в истории людей.

«Что делать мне, простому сыну века?» — задавал себе вопрос поэт и отвечал: «Говорить о времени, о том непоторимом, единственном на свете».

И он смог сказать это самобытно и неповторимо.

Наше поколение училось у Владимира Луговского, мы воспитывались на нем. И мы благодарны ему.

Евгений ВИНУКОВ

В. ЛУГОВСКОЙ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

В архиве В. Луговского сохранилось немало стихотворных набросков, начатых, но не законченных стихотворений, даже поэм. Некоторые из них представляют собой законченные по мысли фрагменты. Таков отрывок из незаконченной поэмы 1944—1945 годов, замысел которой относится к книге «Середина века».

Сухое облако цветастых ситцев,
Холодных рек, тяжелых лип июля,
И биржевой игры, и беспредельной
Игры цветов, движений снов и звуков.
Ты знаешь ли, что значит на тридцатом
Спокойном километре от Москвы
Коричневая дача вся в зеленых
Побегах хмеля! Да, кругом нее
Вставали сосны, тучи, вождельня,
Но мы, холодные свидетели былого,
Мы констатируем, что эта дача

была последним, жалким отраженьем
Того, что было. Есть провал пустот,
В Париже, в доме Инвалидов, видел
Я бешеный провал. Внизу знамена
Чуть колыхались, и венки шумели,
И тридцать пять побед Наполеона,
Нарезанных, как сыр, на непреклонном
Большом полу, мне указали путь
К динизму и холодному злодейству.
История. Простите, это слово
Мне очень ведомо, но слишком непонятно.
На свете есть еще культура майев.
Кто были майи, почему рождались,
Зачем кончались, я не знаю, право,
Но целый материк среди веков
Блуждал, как маленький беззрогий буйвол.
И от него остались только четки,
Колонны черепов, ночные совы
И панихиды маленьких цикад.
Но был в них, в этих майях,

беспредельный
Торжественный, как смерть,
земной размах,
Достоинство и гордая свобода.
Публикация Ел. ВЫКОВОЙ и М. НОГТЕВОЙ